**«О мировом значении русской литературы»**

Ю.В.Лебедев

К концу XIX века русская литература обретает мировую известность и признание. По словам австрийского писателя Стефана Цвейга, в ней видят пророчество "о новом человеке и его рождении из лона русской души". Секрет успеха русской классики заключается в том, что она преодолевает ограниченные горизонты западноевропейского гуманизма, в котором, начиная с эпохи Возрождения, человек осознал себя венцом природы и целью творения, присвоив себе божественные функции. На раннем этапе гуманистическое сознание сыграло свою прогрессивную роль. Оно способствовало раскрепощению творческих сил человеческой личности и породило "титанов Возрождения". Но постепенно возрожденческий гуманизм стал обнаруживать существенный изъян. Обожествление свободной человеческой личности вело к торжеству индивидуализма. Раскрепощались не только созидательные, но и разрушительные инстинкты человеческой природы. "Люди совершали самые дикие преступления и ни в коей мере в них не каялись и поступали они так потому, что последним критерием для человеческого поведения считалась тогда сама же изолированно чувствовавшая себя -личность",- замечал известный русский ученый А. Ф. Лосев в труде "Эстетика Возрождения".

Русская классическая литература утверждала в европейском сознании идею нового человека и новой человечности. А. Н. Островский еще на заре 60-х годов отметил самую существенную особенность русского художественного сознания: "...В иностранных литературах (как нам кажется) произведения, узаконивающие оригинальность типа, то есть личность, стоят всегда на первом плане, а карающие личность - на втором плане и часто в тени; а у нас в России наоборот. Отличительная черта русского народа, отвращение от всего резко определившегося, от всего специального, личного, эгоистически отторгшегося от общечеловечес-кого, кладет и на художество особый характер; назовем его характером обличительным. Чем произведение изящнее, чем оно народнее, тем больше в нем этого обличительного элемента".

Жизнь личная, обособленная от жизни народной, с точки зрения русского писателя, чрезвычайно ограниченна и скудна. "Солдатом быть, просто солдатом",- решает Пьер Безухов, ощущая в душе своей "скрытую теплоту патриотизма", которая объединяет русских людей в минуту трагического испытания и сливает капли человеческих индивидуальностей в живой действующий коллектив, в одухотворенное целое, укрупняющее и укрепляющее каждого, кто приобщен к нему.

И наоборот. Всякое стремление обособиться от народной жизни, всякие попытки индивидуалистического самоограничения воспринимаются русским писателем как драматические, угрожающие человеческой личности внутренним распадом. Достоевский показывает, какой катастрофой оборачивается для человека фанатическая сосредоточенность на идее, далекой от народных нравственных идеалов, враждебной им. Мы видим, как скудеет душа Раскольникова, все более замыкающаяся в себе, в тесные пределы своей идейной "арифметики", как теряются одна за другой живительные связи с окружающими людьми, как разрушается в сознании героя главное ядро человеческой общности - семейные чувства. "Тюрьмой" и "гробом" становится для Раскольникова его собственная душа, похожая на усыпальницу. Неспроста возникает в романе параллель со смертью и воскрешением евангельского Лазаря из Вифании. Только самоотверженная любовь Сонечки Мармеладовой пробивает брешь в скорлупе раскольниковского одиночества, воскрешает его умирающее "я" к новой жизни, к новому рождению.

Таким образом, понимание личности в русской классической литературе второй половины XIX века выходило за пределы ограниченных буржуазных представлений о ценности индивида. В "Преступлении и наказании" Достоевского опровергалась арифметически однолинейная альтернатива, провозглашенная в середине XIX века немецким философом Максом Штирнером: "Победить или покориться - таковы два мыслимых исхода борьбы. Победитель становится властелином, а побежденный превращается в подвластного; первый осуществляет идею величества и "права суверенитета", а второй почтительно и верноподданно выполняет "обязанности подданства". Проходя через искушение индивидуалистическим своеволием, герои Достоевского приходят к открытию, что "самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть... признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли" (Достоевский Ф. М. "Зимние заметки о летних впечатлениях"). В поисках "нового человека" русская литература проявляла повышенный интерес к патриархальному миру с присущими ему формами общинной жизни, в которых человеческая личность почти полностью растворена. Поэтизация патриархальных форм общности встречается у Гончарова в "Обломове" и "Обрыве", у Толстого в "Казаках" и "Войне и мире", у Достоевского в финале "Преступления и наказания". Но эта поэтизация не исключала и критического отношения к патриархальности со стороны всех русских писателей второй половины XIX века. Их вдохновлял идеал "третьего пути", снимающего противоречия между элементарным патриархальным общежитием и эгоистическим обособлением, где высокоразвитая личность оставалась предоставленной сама себе. Художественная мысль Гончарова в "Обломове" в равной мере остро ощущает ограниченность "обломовского" и "штольцевского" существования и устремляется к гармонии, преодолевающей крайности двух противоположных жизненных укладов. Поэтизируя "мир" казачьей общины с его природными ритмами в повести "Казаки", Толстой признает за Олениным, а потом, в эпилоге "Войны и мира", и за Пьером Безуховым высокую правду нравственных исканий, раздумий о смысле жизни, о человеческой душе, свойственных развитому интеллекту. Изображение судьбы человеческой в диалектическом единстве с судьбою народной никогда не оборачивалось в русской литературе принижением личного начала, культом малого в человеке. Наоборот. Именно на высшей стадии своего духовного развития герои "Войны и мира" приходят к правде жизни "миром". Русская литература очень недоверчиво относилась к человеку "касты", "сословия", той или иней социальной раковины. Настойчивое стремление воссоздать полную картину связей героя с миром, конечно, заставляло писателей показывать жизнь человека и в малом кругу его общений, в теплых узах семейного родства, дружеского братства, сословной среды. Русский писатель был очень чуток к духовному сиротству, а к так называемой "ложной общности" - к казенному, формальному объединению людей, к толпе, охваченной разрушительными инстинктами,- он был непримирим. "Скрытая теплота патриотизма" Толстого, сплотившая группу солдат и командиров на батарее Раевского, удерживает в себе и то чувство "семейственности", которое в мирной жизни свято хранили Ростовы. Но с малого начинался отсчет большого. Поэтизируя "мысль семейную", русский писатель шел далее: "родственность", "сыновство", "отцовство" в его представлениях расширялись, из первоначальных клеточек человеческого общежития вырастали коллективные миры, обнимающие собою народ, нацию, человечество.

Крестьянская семья в поэме Некрасова "Мороз, Красный нос" - частица всероссийского мира: мысль о Дарье переходит в думу о величавой славянке, усопший Прокл подобен русскому богатырю Микуле Селяниновичу. Да и событие, случившееся в крестьянской семье,- смерть кормильца - как в капле воды отражает не вековые даже, а тысячелетние беды русских матерей, жен и невест. Сквозь крестьянский быт проступает бытие, многовековая история. Стихии жизни взаимопроникаемы, "все как океан, все течет и соприкасается,- говорит Достоевский устами старца Зосимы,- в одном месте тронешь - в другом конце мира отдается". Французский критик Мелькиор де Вогюэ, например, писал о Толстом: "...мы хотим, чтобы романист произвел отбор, чтобы он выделил человека или факт из хаоса существ и вещей и изучил избранный им предмет изолированно от других. А русский, охваченный чувством взаимозависимости явлений, не решается разрывать бесчисленные нити, связующие человека, поступок, мысль,- с общим ходом мироздания; он никогда не забывает, что все обусловлено всем".

Широта связей русского героя с миром выходила за пределы узко понимаемого времени и пространства. Мир воспринимался не как самодовлеющая, отрезанная от прошлого жизнь сегодняшнего дня, а как преходящее мгновение, обремененное прошлым и устремленное в будущее. Отсюда - тургеневская мысль о власти прошлого над настоящим в "Дворянском гнезде", "Отцах и детях", а также часто повторяющийся мотив безмолвного участия мертвых в делах живых. Отсюда же - апелляция к культурно-историческому опыту в освещении характера литературного героя. Тип Обломова, например, уходит своими корнями в глубину веков. Этот дворянин, обломовская лень которого порождена услугами трехсот Захаров, некоторыми особенностями своего характера связан с былинным богатырем Ильей Муромцем, с мудрым сказочным простаком Емелей и одновременно в нем есть что-то от Гамлета и печально смешного Дон Кихота. Герои Достоевского тоже хранят напряженные связи с мировым духовным опытом: над образом Раскольникова витают тени Наполеона и мессии, за фигурой князя Мышкина угадывается лик Христа.

Русский реализм середины XIX века, не теряя своей социальной остроты, выходит к вопросам философским, ставит вечные проблемы человеческого существования. Салтыков-Щедрин так определил, например, пафос творчества Достоевского: "По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель... не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя на попытку изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основание романа "Идиот",- и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которою бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п. Это, так сказать, конечная цель, в виду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями".

Поиски русскими писателями второй половины XIX века "мировой гармонии" приводили к непримиримому столкновению с несовершенством окружающей действительности, причем несовершенство это осознавалось не только в социальных отношениях между людьми, но и в дисгармоничности самой человеческой природы, облекающей каждое индивидуально неповторимое явление, каждую личность на неумолимую смерть. Достоевский утверждал, что "человек на земле - существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное".

Эти вопросы остро переживали герои Достоевского, Тургенева, Толстого. Пьер Безухов говорит, что жизнь может иметь смысл лишь в том случае, если этот смысл не отрицается, не погашается смертью: "Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку... отчего же я предположу, что эта лестница... прерывается мною, а не ведет дальше и дальше до высших существ. Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был".

"Ненавидеть! - восклицает Евгений Базаров.- Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа,- она такая славная, белая,- вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?"

Вопрос о смысле человеческого существования здесь поставлен с предельной остротой: речь идет о трагической сущности человеческой идеи прогресса, о цене, которой она окупается. Кто оправдает бесчисленные жертвы, которых требует вера во благо грядущих поколений? Да и смогут ли цвести и блаженствовать будущие поколения, предав забвению то, какой ценой достигнуто их материальное благоденствие? Базаровские сомнения содержат в себе проблемы, над которыми будут биться герои Достоевского от Раскольникова до Ивана Карамазова. И тот идеал "мировой гармонии", к которому идет Достоевский, включает в свой состав не только идею социалистического братства, но и надежду на перерождение самой природы человеческой вплоть до упований на будущую вечную жизнь и всеобщее воскресение.

Русский герой часто пренебрегает личными благами и удобствами, стыдится своего благополучия, если оно вдруг приходит к нему, и предпочитает самоограничение и внутреннюю сдержанность. Так его личность отвечает на острое сознание несовершенства социальных отношений между людьми, несовершенства человеческой природы, коренных основ бытия. Он отрицает возможность счастья, купленного ценой забвения ушедших поколений, забвения отцов, дедов и прадедов, он считает такое самодовольное счастье недостойным чуткого, совестливого человека.

Русская классическая литература ощутила тревогу за судьбы человечества на том этапе его истории, когда, на попрании великих религиозных истин, возникла фанатическая вера в науку, в абсолютную ее безупречность, когда радикально настроенным мыслителям революционно-просветительского толка показалось, что силою разума можно разом устранить общественное несовершенство. Всеми средствами наша классическая литература стремилась удержать этот назревавший, необузданный порыв. Вспомним Платона Каратаева у Толстого, Сонечку Мармеладову, Алешу Карамазова и старца Зосиму у Достоевского. Вспомним насто-роженное отношение русских писателей к деятельному человеку. Не предчувствие ли опасности самообожествленного человеческого разума заставляло Гончарова заклеймить Штольца и едва ли не на пьедестал возвести "ленивого" Обломова?

Тургенев в своем Базарове, Достоевский в своем Раскольникове, Толстой в Наполеоне не по той ли причине сосредоточили внимание на трагизме смелого новатора, безоглядного радикала, способного подрубить живое дерево национальной культуры, порвать связь времен? И даже Салтыков-Щедрин в финале "Истории одного города" предупреждал устами самодержца Угрюм-Бурчеева: "Придет некто, кто будет страшнее меня!" А в 90-е годы Чехов не уставал предупреждать российского интеллигента: "Никто не знает настоящей правды".

Но к предупреждениям русской классической литературы деятельный век войн, революций и глобальных социальных потрясений оказался не очень чутким. России суждено было пройти через этап обожествления конечных человеческих истин, через благородную в своих намерениях, но жутко кровавую в исполнении веру в революционно-преобразующий разум, способный создать рай на грешной земле.

Уроки классики были полностью преданы забвению. Напряженный духовный труд Толстого и Достоевского был презрительно заклеймен как "юродство во Христе" или как реакционная "достоевщина". Но именно Достоевский в финале "Преступления и наказания", в пророческом сне Раскольникова, предугадал надвигающийся кризис возрожденческого гуманизма, кризис европейской цивилизации, обожествившей на исходе XIX века самое себя, решившей взять разом "весь капитал" и уж никак не желавшей "ждать милостей от природы".

В. С. Соловьев в. статьях, посвященных памяти Достоевского, сформулировал истины, к открытию которых пришла вместе с творцом "Преступления и наказания" русская классическая литература. Она показала прежде всего, что "отдельные лица, хотя бы и лучшие люди, не имеют право насиловать общество во имя своего личного превосходства". Она показала также, что "общественная правда не выдумывается отдельными умами, а коренится во всенародных чувствах".

Глубочайшая народность русской классической литературы заключалась и в особом взгляде на жизнь народа, в особом отношении ее к мысли народной. Русские писатели второй половины XIX века, выступая против самообожествления народных масс. Они отличали народ как целостное единство людей, одухотворенное высшим светом простоты, добра и правды, от человеческой толпы, охваченной настроениями группового эгоизма. Особенно ясно это противостояние народа и толпы показал Толстой в романе-эпопее "Война и мир".

Уроки русской классической литературы и до сих пор еще не усвоены и даже не поняты вполне, мы еще только пробиваемся к их постижению, проходя через горький опыт исторических потрясений XX века. И в этом смысле русская классика все еще остается впереди, а не позади нас.